



Поэт, переводчик, лауреат "Русской Премии", Волошинской премии, Премии журнала "Звезда", Премии Международного фонда памяти Бориса Чичибабина и многих других. Автор более 10 поэтических сборников. Живет в Харькове (Украина).

* * *

Видно, здорово напился, убаюкивая дух,
коль не хипстера на пирсе видишь ты, а сразу двух.
Это прям какой-то Пратчетт. Клацнув дверцами тойот,
глупый хипстер робко прячет, умный — смело достает,
чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью "Надым",
ты ловил ноздрями сладкий электронной цацки дым.
Не впервой курить вприглядку бездоходному тебе,
на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе.
Не впервой слезой давиться пересекшему Сиваш.
Все плывет, и все двоится: крымненаш и крымневаш.
И маячат беспартейно — между миром и войной —
цвета местного портвейна два светила над волной.
Ты и сам давно раздвоен: у тебя внутри мятеж,
перестрелка, смута, зрада, разоренная страна,
где один — Аника-воин, а другой — А ну-ка врежь,
и обоим вам не надо ни победы, ни хрена.
Потому что в этом гуле, продолжающем расти,
ты боишься, но не пули — страшно резкость навести
на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав,
и никчемный одиночка видит, голову задрав,
как меж бездною и бездной, рассекая темноту,
хипстер движется небесный с огнеметом на борту.

* * *

В перспективе окна закоснев:
двор, киоски, пожарка,
человек умирает, как снег,
некрасиво и жалко.

Отползает, смещается в тень,
где, за лужею лужу
выпуская, смущается тем,
что срамное наружу

ищет выход. Сжимается весь.
"Нет, — бормочет, — не трушу", —
В белый свет выдыхая, как взвесь,
непросохшую душу.

ОСЕНЬ КУКЛОВОДА

Устав за нитки дергать глупых кукол,
распределять меж верными еду,
он в кресло сел, он чресла в плед закутал,
и дремлет в можжевелевом саду.

Все побоку: поляки, иудеи.
Войска своей игрушечной страны
он выучил сражаться за идею —
теперь им даже нитки не нужны.

Бурлит восток. Дурные вести с юга.
Бухает север. Запад обречен.
Они мутузят яростно друг друга.
И лишь ему известно, что почём.

Нестоящих и не прямостоящих
с дырой в башке, с оторванной ногой,
забив на всё, в картонный сгрузит ящик
уже не он, а кто-нибудь другой.

А тут — заката блажь неуставная.
И можно в сотый ляхов и Москву
стращать отмщеньем, с кресла не вставая,
с винцом в груди, с Альцгеймером в мозгу.

ПИКАССА

Роняет слезы Алевтина в поминальную кутью.
Висит-качается картина, а художник-то — тю-тю.
Зачем с ментами пререкался, спяну путаясь в пальто:
мол, отвяжитесь, я — Пикасса! Отвязались на все сто.
Куда ни кинь — сплошные траты, только в доме ни хрена —
лишь треугольники, квадраты — геометрия одна.
А рисовал бы всяких рыбок и русалок с лебедьми, —
она б носила их на рынок, не позорясь меж людьми.
И, дулю не держа в кармане, знал бы каждый идиот:
жена художникова, а не: "глянь, Пикассиха!" идет.
Любви короткая заплачка — жар шутихи по дуге.
А после — памяти заначка четвертинкой в сапоге.
...Ловил ее на полдороге, вел в нетопленный подвал.
Давилась водкою, а все же промерзала до костей.
Сияла телом, а в итоге что, дурак, намалевал?
Ни кожи, Господи, ни рожи — расчлененка на холсте.
Небесной брезговал защитой: проживу — брехал — до ста.
И что? Лежит теперь — зашитый, не отпетый, без креста.
А так надеялась в больнице, где прибрал его Господь,
что он, решив перекреститься, пальцы вдруг собрал в щепоть,
а не затем, чтобы над бездной, в пустоту качнув кровать,
своей замызганной, облезлой кистью вдох дорисовать.

* * *

Юность одержима, как мятеж.
Всё в пандан — бандана, балаклава,
всё зачтется, чем себя ни тешь:
свергнутый родительный падеж,
смертью перекормленная слава,
бытие, обернутое в трэш.

Пуля — дура. Комп с разбитым ртом.
Врассыпную — треть клавиатуры.
Шрам зарубцевался на плече.
Под штормовкой — маечка с принтом
Че Гевары или Че Петлюры —
не имеет, собственно, значе...

— Что трясешься? Хватит — о тепле.
Я вчера — пошарь, короче, в сумке —
стырил в супермаркете коньяк.
Мяч у нас. Оле-оле-оле!
Если окружили эти суки,
есть, чем отстреляться, на крайняк.

Нам придется встать спиной к спине.
С тылом в этот раз не подфартило.
Гребаный не сбился Голливуд.
Ты чего, чувак, повис на мне?
Как всегда, патронов не хватило.
Хоть узнать бы, как тебя зовут.

* * *

Марине Гарбер

Жжет, истерит, надравшись, блюет в порту,
"на" энергично перетирает в "дай!"
Лето — диджей в любовном поту, в тату.
Осень — джедай.

Лето грызет початок, упав плашмя
на парাপет, бубнит имена светил
в чье-то ушко, не веря, что жизнь прошла
и белозубый лайнер уже свинтил.

Осень бесшумно пересекает вброд
всякую воду, тенью скользя по дну,
в гору ползя, легко маскируясь под
красный шиповник, черную бузину.

"Сядь, — говорит, — на камень, глаза разуй.
Я подымлю пока за твоей спиной".
Сел и увидел: золото и лазурь.
Вздрыгнул. И снова — золото и лазурь.
"Вот, — говорит, — а как ты гнушался мной!

Зря не канючь: в какую, мол, почву лечь?
Вышли в тираж твои васильки и рожь.
Там, где взметнется мой светоносный меч —
там и замрешь".

* * *

"Не бросай меня, — прижимается, — будь со мной.
Будь моей опорой, крышей, моей стеной..."
Он кривится: "Боже,
поменял бы Ты назойливый звукоряд!
Столько баб на белом свете, а говорят
все одно и то же".

Тьма слетает в сад бесшумно, как нетопырь.
Отсыревший воздух, резкий, как нашатырь,
заползает в окна,
и зрачками волка
две звезды горят, насаженные на штырь.

Он снимает ее ладонь со своей груди.
ну давай: обличай, долдонь, городи, гунди —
все равно уеду
из югов твоих — горели б они огнем!
Под кроватью — сумка, паспорт на дне, а в нем —
мой билет на среду.

"Ха! — глумится она, — твой паспорт и впрямь на дне.
Тащит краб его в зубчатой, кривой клешне,
а билет мурена,
не икнув, сглотнула. Спи, болтовней не мучь.
На крючке — халат. В кармане халата — ключ.
Дверь снесешь? А хрена!"

Так полвека они, уставившись в потолок,
продолжают в ночи мучительный диалог,
губ не разжимая.
И когда она вдруг смолкает часу в шестом,
он толкает ее, спеша убедиться в том,
что она — живая.